

Народное и человеческое

(По поводу «Евразійскаго Временника», кн. IV, Берлинъ, 1925).

Чего хлопочутъ люди о народности? Надобно стремиться къ человѣческому, свое будетъ поневолѣ.

Н. Станкевичъ.

Нѣтъ ничего легче, какъ представить каждый фактъ въ видѣ неминуемаго результата высшихъ законовъ разумной необходимости; но ничто не искажаетъ такъ настоящаго пониманія исторіи, какъ эти мнимые законы разумной необходимости, которые въ самомъ дѣлѣ суть только законы разумной возможности.

И. Курьевскій.

То, что въ различныхъ статьяхъ «Временника» мы читаемъ — очевидно вынужденная — самооправданія евразійцевъ въ тѣхъ или иныхъ по разному «опасныхъ» «уклонахъ», которые имѣт, справа и слѣва, приписываются, весьма показательны для нетерпимости и подозрительности, лежащихъ у насъ въ основѣ своеобразнаго, очень давняго, упроченнаго традиціей «критическаго метода». Всякое *направленіе* необходимо односторонне и непременно имѣетъ какой-нибудь свой недля всѣхъ желательный «уклонъ», — и нѣтъ такой идеи, которой не пришлось бы отвергнуть, если бы ее стали судить по ея *возможнымъ* искаженіямъ. «Евразійцы», которымъ, въ общемъ, нельзя отказать ни въ искренности, ни въ дарови-

тости, ни въ подлинной культурности, заслуживаютъ болѣе справедливаго и внимательнаго отношенія. Нѣтъ ничего легче, какъ вынюхать у человѣка, отваживающагося сказать свое мнѣніе, «заднюю мысль», а затѣмъ расправиться съ нею; но гораздо честиѣе и полезнѣе потрудиться надъ тѣмъ, чтобы разобраться въ той мысли, которая прямо высказана и судить ее самое, а не то, что она *можетъ* собою прикрывать. Въ «евразійствѣ» есть одна сторона, сразу привлекающая къ нему сочувствіе: «евразійцы» принадлежатъ къ тѣмъ немногимъ въ русской эмиграціи людямъ, которые мало того, что поняли, что «къ прошлому возврата нѣтъ» (это уже стало ни къ чему не обязывающимъ клише), но и прониклись убѣжденіемъ,

что русская революція есть не просто «сдвигъ», «потрясение», «длиннація» чего-то и т. под., но и жизненный процесс; — не «перерывъ въ теченіи времени», какой-то «промежутокъ», между «прошлымъ» и «будущимъ», когда «возобновится строительство», что эта революція *сама протекает во времени*, что, значить, русская жизнь *уже* какъ-то мѣняется, что новая русская культура *уже* творится и что, стало быть, намъ, оторваннымъ сейчасъ отъ родины, — если придетъ счастье вернуться, — надо будетъ такъ сказ. вступить въ дѣло находящееся «на полномъ ходу», а вовсе не что-то такое «начинать съ самаго начала». «Евразійцы» хотятъ представить себѣ, какъ и въ какомъ направленіи движется эта новая русская культура, — и вотъ тутъ-то и начинаются наши недоумѣнія. Сразу бросается въ глаза, что «евразійцы» какъ-то равнодушны къ дѣлу, которое, казалось бы, должно было бы павязаться имъ: къ учету, — насколько это для насъ возможно, — реальныхъ явленій, относящихся къ процессу перерожденія, а, можетъ быть, и возрожденія Россіи. Они не столько считаютъ съ дѣйствительностью, сколько «утверждаютъ» пророчески «долженствующій быть», — ибо они соглашуются съ ихъ историко-философскими требованиями, — процессъ; «пріявъ» Революцію, какъ фактъ, они затѣмъ все же какъ бы забываютъ о ней; или вѣрнѣе, учитываютъ ея роль лишь постольку, поскольку это отвѣчаетъ ихъ сим-

патіямъ и пожеланіямъ: Революція, доведя до предѣльнаго ужаса «европейское» начало на Руси, тѣмъ самымъ вмѣстѣ и обнаружила его «ложность», ложность абсолютную, «сущностную», и убила его въ его конкретномъ носителѣ, въ порожденной Петровской реформой «интеллигенціи»; а благодаря этому Революція освобождаетъ исконныя, «истинно-русскія» жизненные силы, возстановливаетъ «нормальный», предуказанный географіей и этнографіей ходъ русской исторіи. Въ одно и то же время революція и «открываетъ глаза» на то, что подлежитъ уничтоженію и осуществляетъ то, что должно осуществиться; — «должно» въ двойномъ смыслѣ: религиозно-этическомъ и эмпирико-историческомъ. «Евразійцы» въ одно и то же время исповѣдуютъ абсолютный историческій детерминизмъ, вѣрятъ въ географическо-этнографическій fatum, и предписываютъ русской исторіи то направленіе, которое они — изъ соображеній религиозно-философскихъ — *требуютъ*, чтобы она приняла. Въ силу этого они — величайшіе оптимисты. Въ ихъ изображеніи получается какая-то предустановленная гармонія между «сущимъ» и «должнымъ» въ русской исторіи, благодаря которой реально протекающая исторія одного опредѣленного народа становится съ точки зрѣнія исторической метафизики «исторіей по преимуществу», исторіей осуществленія на землѣ во всей полнотѣ божественнаго обѣтованія о спасеніи рода человѣческаго.

Въ статьѣ кн. Трубецкаго, «О туранскомъ элементѣ въ русской культурѣ» (представляющей, на мой взглядъ, образцовый по тонкости и отчетливости выношенія синтезъ расовой психологіи) доказывается что сочетание въ русскомъ народѣ арійскихъ психическихъ чертъ съ чертами, обусловленными влітіемъ туранскаго элемента, какъ разъ таково, что дѣлаетъ для этого народа возможнымъ и необходимымъ усвоеніе и сохраненіе въ чистотѣ единственно истиннаго христіанства; авторъ «Европы и Человѣчества», доведшій въ этой своей книгѣ исторической релятивизмъ до крайности, отстаивавшій цѣнность *каждой* культуры у себя дома, теперь утверждаетъ, что культура, носителемъ которой является, въ силу своего этническаго состава, одинъ опредѣленный народъ, есть *едиственная абсолютно цѣнная* въ своихъ основахъ культура; мѣстное и едличное пріобрѣтаетъ такимъ образомъ цѣнность и значеніе всеобщаго и вѣчнаго. Мнѣ неясно: сознаетъ ли авторъ несомнѣстимость своего отрицанія общечеловѣчности европейской культуры во имя правъ неевропейскихъ народовъ съ теперешнимъ признаніемъ *всеобщаго* значенія за русской культурой; понимаетъ ли онъ, что *теперь* уже для него недостаточно призывать къ эмансипации отъ «Европы» единственно изъ тѣхъ соображеній, что *всякая* культура имѣетъ *только истинную* цѣнность, и не кажется ли ему самому по меньшей мѣрѣ страннымъ, что одна

и та же культура выходитъ у него вмѣстѣ и относительно и абсолютно цѣнной и истинной. За «евразійцами» надо признать ту заслугу, что они усматриваются поставить на почву широкаго и всесторонняго научнаго изслѣдованія вопросъ объ индивидуальной сущности русской культуры и не отступаютъ передъ попыткой ея философской оцѣнки, но надо признать и то, что, какъ мы только что видѣли на одномъ примѣрѣ, они какъ будто не разграничиваютъ этихъ задачъ и потому ставятъ ихъ сбивчиво и какъ-то двусмысленно. Я остановлюсь еще на 2-3-хъ примѣрахъ: они, думается мнѣ, объясняютъ, *почему* это происходитъ и тѣмъ самымъ даютъ намъ основаніе для непримиримой критической оцѣнки «евразійства» въ цѣломъ.

«Евразійцы» индивидуализируютъ русскую культуру двоякимъ способомъ: непосредственно, изучая ее въ ея самой, и путемъ противопоставленія ея культурѣ «европейской», т. е. «германо-романской» или «латинской»; выясняются тѣ цѣнности, которыя, по мнѣнію «евразійцевъ», только русской культурѣ присущи и вмѣстѣ съ тѣмъ доказываются сущностная прочность «латинской» культуры. Такъ какъ съ ихъ точки зрѣнія (которую я считаю неопровержимой) Россія есть «Евр-азія», т. е. какъ-то органически входитъ, между прочимъ и, въ Европу, различіе между Россіей, какъ *Европой*, и остальнымъ европейскимъ міромъ можетъ быть только относительно, что, ко-

нечно, чрезвычайно затрудняет задачу сопоставления. Разумеется, при такой работе допустимо и даже неизбежно пользование приемами *стилизации*, т. е. в сущности упрощения и некоторого сгущения красок; но требуется величайший такт, чтобы упрощение не переходило в прямое искажение. И во всяком случае при построении *типов* исторических *индивидуальностей* надо быть очень внимательным и осторожным, не упускать ни одной существенной черты своеобразия и отбрасывать всё то, что общи сравнимым типам. И вот оказывается, что против этих правил «евразийцы» особенно грешат. В одной статье последнего сборника, в которой доказывается, что только православие заключает в себя истинное понимание отношения между лицами св. Троицы (Карсавин, Уроки отреченной веры), я нахожу (стр. 108) следующее примечание автора к его разсуждениям, что Первая Ипостась «есть действительно Отец, рождающий Вторую Ипостась, как Сына едиnorodного» «Русская культура (как и ряд т. наз. восточных культур) обнаруживает свою онтологичность в именовании человека «по имени и отчеству», отпадение от чего замечается особенно за последнее время». Как, однако, быть с Пелидами и Атридами, съ Сократомъ, сыномъ Софрониска, со Снорре Стурлесономъ и Олафомъ Тригвасономъ, и какъ отвести слова ассизскаго бѣднѣжника: «огньнѣ не буду я называться сыномъ

Піетро Бернардоне, но буду звать отцомъ Отца моего небеснаго»? «Онтологичность восточныхъ культуръ» тутъ не причемъ: имя-отчество употребляется всюду, гдѣ сильны семейныя и родовыя начала. Примѣчаніе Карсавина похоже на удачный анекдотъ, который въ немногихъ словахъ «рисуетъ человека цѣликомъ». Въ немъ, какъ въ фокусѣ, сведены всѣ слабыя стороны «евразійства»: 1) произвольное пользование сравнительно-историческимъ методомъ, равнозначущее его игнорированію, 2) смѣшеніе временнаго, эмпирическаго, съ абсолютнымъ и вѣчнымъ, 3) злоупотребленіе «малыми фактами», берущимися въ качествѣ символовъ, которымъ приписывается только одно, всегда одинаковое, значеніе 4) абсолютизирование противоположности отдѣльныхъ культурныхъ міровъ. Въ первомъ отношеніи наиболѣе показательна статья М. В. Шахматова, «Государство Правды». Авторъ, насколько я могу судить, вполне правильно излагаетъ господствующій въ русскихъ лѣтописяхъ взглядъ на Государство, его задачи и цѣли а свою оцѣнку лѣтописей формулируетъ такъ: «русскія лѣтописи... составляютъ не второстепенное, провинціальное явленіе, а какъ *политическіе трактаты* имѣютъ великое, мировое значеніе, являются произведениями *гениальными* по своему исполненію, сорванными по своему значенію, лучшимъ созданіямъ политической мысли...» (Евр. Вр., кн. 4, 273, курсивъ мой). Лѣтописи писались мно-

гим авторами. Неужто *все* они были «геніями» равными Эомѣ Авя., Аристотелю, Монтеке, Августину (которыхъ именуешь авторъ)? Между тѣмъ авторъ былъ близокъ къ тому, чтобы понять, въ чемъ дѣло, такъ какъ на предыдущей страницѣ самъ же онъ говоритъ, что «многія составныя части (лѣтописныхъ политическихъ ученій) восприняты уже готовы изъ библии и Византіи».

Если бы онъ далъ себѣ трудъ прослѣдить источники политическихъ ученій лѣтописей, то онъ бы убѣдился, что не «нѣкоторыя» части ихъ, а *все* заимствовано изъ библии и святоотеческой литературы; а если бы онъ сопоставилъ наши лѣтописи съ западными хрониками и анналами, то онъ бы увидѣлъ, что *такія же точно* ученія излагаются и тамъ, и это понятно, потому что идеологія нашихъ и западныхъ книжниковъ Средневѣковья восходитъ къ *одному* и *тому же* источнику. Но «евразійцы» а priori отвергаютъ возможность того, чтобы на Западѣ были канія-либо достиженія, равноцѣнные восточнымъ. Для нихъ достаточно указанія, «что Западъ» — Латинство, тогда какъ «Востокъ» — Православіе, а Православіе — единственно истинное христіанство. Изъ «латинства», т. е. католичества евразійцы выводятъ тотъ «западно-европейскій» по преимуществу Идеалъ вѣщяго, формальнаго общественнаго устройства, усвоеніе котораго погубило Россію. Католицизмъ и социализмъ для нихъ равнозначущія величины. Католицизмъ неизбѣжно приво-

дитъ къ социализму, ибо въ свергнутомъ состояніи социализмъ уже заключается въ католицизмъ, какъ системъ, приуроченной къ водворенію Царства Божія на Землѣ путемъ насилія и принужденія. Это не ново и это во многихъ отношеніяхъ вѣрно. Но когда евразійцы, вслѣдъ за своими учителями, и прежде всего, конечно, Достоевскимъ, — объявляютъ это перерожденіе католической системы совершенно неизбѣжнымъ, ровковымъ, и *конечнымъ*, когда они возвѣщаютъ, что европейская культура уперлась въ *безвыходный* въ силу необходимости, тупикъ, то они поддаются иллюзіи, состоящей въ томъ, что мы, реконструируя *post factum* пройденный историческій процессъ и учитывая при этомъ — что для историка-исслѣдователя вполне закононо — только тѣ «возможности», которыя въ этомъ процессѣ реализовались и возобладали, такъ что въ итогѣ реконструирующей работы изученный и т. сказ. «препарированный» процессъ получаетъ видъ сплошь внутренне детерминированнаго эволюціоннаго ряда, — затѣмъ принимаетъ этотъ препаратъ за *единственно возможную*, потому что осуществившуюся, реальность. Католическая система могла диалектически переродиться въ свою противоположность, и она *действительно* переродилась въ нее. *Значитъ*, она и *должна* была переродиться. Этотъ выводъ логически далеко не безупреченъ, онъ даже просто незаконенъ. Въ этомъ отношеніи нѣсколько въ сторонѣ отъ про-

чихъ участниковъ сборника стоитъ Л. П. Карсавинъ, поскольку, очевидно сознавая недостаточность обращенія къ исторической «динамикѣ» для прогнозовъ относительно неминуемаго будущаго, онъ хочетъ вскрыть органическій *vitium* католицизма, какъ *religiū*, путемъ изслѣдованія католической догматики. Л. П. Карсавинъ считаетъ, что поскольку религія «не исчерпывается ни системою теоретическихъ положеній, ... ни нравственными нормами и дѣятельностью, ни культомъ», но «является однимъ *цѣлымъ* (к. авт.), *какъ бы* (id.) живымъ «организмомъ», ... равно выражается во всѣхъ трехъ названныхъ сферахъ» (стр. 89), постольку, стало быть, теоретическая, раскрываемая въ *познаніи* ея сфера органически связана съ остальными, — постольку, вскрывъ теоретическія заблужденія католицизма, какъ догматической системы, возможно показать не-христіанскій характеръ католической вѣры. Католичество — не болѣе какъ *ересь*. Католикъ, всякій католикъ, страдаетъ достойной сожалѣнія «недостаточностью» вѣры (см. стр. 101). Входить въ оцѣнку богословскихъ разсужденій автора я не считаю себя компетентнымъ; но въ то же время я отказываюсь принять на свой счетъ то, что авторъ, предвидящій эффектъ своей статьи, говоритъ (стр. 141) объ ея «многихъ прекраснѣйшихъ читателей», которые «не отвергнувъ и не принявъ, т. е. попросту не осиливъ исходныхъ ея положеній» и «проспавъ» тѣ «необходимые вы-

воды», къ которымъ онъ, авторъ, пришелъ, увидя въ нихъ «проявленія духа нетерпимости и злобы». Я убѣжденъ, что *исходныя положенія* автора я «осилилъ», и я ихъ рѣшительно отвергаю, вмѣстѣ съ «необходимыми» выводами изъ нихъ, въ которыхъ я, впрочемъ, вижу проявленіе вовсе не «духа злобы», но своему обостряющей зрѣніе, а чистѣйшаго *бездушія*, имѣющаго свойство затуманивать взоръ. Но «несходными выводами» автора выходитъ, что Св. Францискъ, св. Бонавентура, св. Тереза, Паскаль, Фенелонъ и св. Францискъ Салезій не были истинными христіанами, что они страдали «недостаточностью вѣры». Какой самоувѣренностью, какой убѣжденностью въ собственной непогрѣшимости надо обладать, чтобы взять на себя отвѣтственность за подобныя утвержденія! Если авторъ не испугался своего вывода и не счелъ нужнымъ провѣрить еще разъ свои «исходныя положенія», то это — его личное дѣло. Для насъ же его выводъ является вѣрнымъ речительствомъ въ личности «исходныхъ положеній».

Градъ Божій, «странствующій» по землѣ, Церковь Христова въ силу опредѣленія, нигдѣ не дома. Церковь *вселенская*, поскольку принадлежитъ къ ней исповѣдуютъ Христа, пострадавшаго за *всѣхъ* людей, она въ своихъ историческихъ воплощеніяхъ всегда и неизбѣжно «провинциальна». Общечеловѣческое, реализуясь въ условіяхъ пространства и времени, вообще,

всегда и всюду въ известной степени «провинциально»; народное, историческое налагается на него свой отпечатокъ, — и Пушкина любой русской чело-вѣкъ пойметъ въ какомъ-то отпощеніи интимнѣе и лучше, нежели бы его понимъ равный ему по общечеловѣчности своего генія Гете. Надо быть православнымъ, чтобы такъ глупо и такъ интимно понять всю чисто религиозную значительность русскаго «обрядовѣ-рованія» и «иконопоклонничества», какъ понимъ А. В. Карташовъ*); но въ такомъ случаѣ требуется допустить то же самое и для католиковъ. Ошибка Карсавина — методологическаго свойства. Онъ совершенно произвольно счелъ, что религиозная символика въ широкомъ значеніи этого слова (догма, культъ, поведеніе) вполнѣ выражаетъ собою религиозную *перезживанія*; между тѣмъ какъ на дѣлѣ всѣ эти средства самообнаруженія религіи, будучи, во первыхъ, всеобщимъ достояніемъ, во-вторыхъ, къ тому же, лишь частично созданными ad hoc, а чаще всего заимствованными, унаслѣдованными и затѣмъ приспособленными для данной религіи, не могутъ служить для посторонняго абсолютно надежнымъ источникомъ сужденія о данной религіи, какъ живой психической силѣ. Вѣрующій вкладываетъ въ эти символы *свое* содержаніе, часто безконечно далеко отстоящее отъ нихъ «объективной» (для

посторонняго наблюдателя) значимости. Подойти къ правильной *оцѣнкѣ* религіи со стороны возможно только при условіи учета ея дѣйствительнаго воздѣйствія на душу, другими словами изученія *исторіи религиозной жизни*: отъ памятниковъ религіи (каноновъ, богословскихъ трактатовъ, молитвенниковъ и проч.) слѣдуетъ перейти къ *людямъ*, которыя этихъ «памятниковъ» воспринимались, которые посредствомъ нихъ и черезъ нихъ восходили къ постиженію того, чего имъ въ какихъ символахъ адекватно выразить нельзя. Св. Францискъ, конечно, не «осилилъ» бы ни сданаго слова изъ статьи проф. Карсавина и ужъ навѣрно никогда бы не понимъ, почему ему слѣдуетъ отказаться отъ «filioque»; это не помѣшало ему удостоиться стигматовъ язвъ Христовыхъ. И послѣ Tridentinum Христосъ не покинулъ католической Церкви: объ этомъ совершенно неопровержимо гонорятъ *факты исторіи религиозной жизни*, собранные въ такомъ изобиліи Анри Бремономъ въ его замѣчательной «исторіи религиознаго чувства во Франціи»*), обращающіе въ ничто «необходимые выводы» Л. П. Карсавина относительно «недостаточности вѣры» вымышленнаго имъ «католика вообще». Карсавинъ впадаетъ въ тотъ самый грѣхъ

*) Смыслъ Старообрядчества, Сб. статей, посвящ. П. В. Струве, Прага, 1925, 373-381.

*) Henri Bremond, Histoire litteraire du sentiment religieux en France depuis la Guerre de Religion jusqu'a nos jours, — пока 6 томовъ (1923).

гордыши, въ которомъ повинны «воинствующие» католики. Истинно вселенская Церковь есть совокупность *всѣхъ* вѣрующихъ во Христа, посреди мѣстныхъ и временныхъ конфессиональныхъ различій. И если вѣрна мысль «евразійцевъ» (я думаю, что вполне вѣрна), что русское православіе какъ-то психологически связано съ русскими національными свойствами, то изъ этого слѣдуетъ только то, что и русскому религиозному сознанию, и русскому церковному укладу по необходимости присуща известная ограниченность. Претендовать на званіе монополярнаго носителя общечеловѣческой культуры ни одинъ народъ не имѣетъ права. Это не только грѣшно, это попросту — нсумно. Языкъ, на которомъ говорить Кантъ столько же общечеловѣченъ, какъ языкъ, на которомъ говорить Пушкинъ, — но это при условіи, чтобы говорящими были именно Кантъ и Пушкинъ. Стоить же заговорить Гансу Мюллеру или Ивану Ивановичу, — какъ вся «общечеловѣчность» исчезаетъ, безъ слѣда, и остается чистая и безпримѣсная «провинциальность».

Хотя имя Л. П. Карсавина впервые встрѣчается среди подписей участниковъ «евразійскихъ» изданій, его статья весьма типична для «евразійства». Почти во всѣхъ евразійскихъ разсужденіяхъ мы наталкиваемся на по духу то же самое, — на гипостазирование и абсолютизирование историческихъ категорій. Общій взглядъ «евразійцевъ» на русскую культуру (это можно было бы подтвер-

дить многочисленными цитатами, но я не вижу въ нихъ нужды и думаю, что никто не упрекнетъ меня въ искаженіи мыслей евразійцевъ) формулируется приблизительно такъ: въ силу особенностей славянско-туранской народности, населяющей «Евразію», особенностей неустраиваемыхъ и неизбывныхъ, русская культура можетъ быть только православной, т. е. подлинно-христіанской (въ отличіе отъ западной, лже-христіанской) культуры. Такой культуры у насъ до сей поры въ общемъ не было: былъ православный *бытъ* и несамостоятельная, заносная, неправославная *лже-культура*; были, канонель, отдѣльные, разрозненные явленія, показывающія, что «евразійскій» прогнозъ относительно русскаго будущаго правилель (Славянофилы, Достоевскій, Леонтьевъ). Сейчасъ передъ русскими стоитъ задача созданія русской національной культуры, а для выполненія этой задачи надобно стать на національную почву, оглянуться черезъ «петербургскій періодъ» на подлинное *русское* прошлое, и имѣть всегда въ виду византійскіе и туранскіе истоки русской исторіи. Это построение кажется весьма цѣльнымъ, — но только на первый взглядъ. Вѣдь, если его принять, то придется отмести, какъ «лжекультурныя», весьма многочисленные явленія, до сихъ поръ опредѣлявшія для насъ собою то, что мы связывали съ понятіемъ русской культуры. И, «протестантъ» Петръ, и язычникъ Пушкинъ, и Гамлетъ Боратынскій, и пѣвецъ Хаоса и

Смерти Тютчевъ, и «гегельянецъ» Бѣлинскій должны быть отвергнуты. «Евразійцы» настаиваютъ на томъ, что отъ фактовъ уйти нельзя, что «евразійское», славянско-турское происхожденіе русскаго народа есть *фактъ* и что изъ этого факта нашей исторіи мы *обязаны* извлечь опредѣленные выводы. Ну, а русская культура послѣ-Петровскаго времени, — развѣ она не такой же историческій фактъ? Пусть она явилась результатомъ ненавистнаго западнаго вліянія, — что же изъ того? Нравится это или не нравится, — непререкаемое совершенство этой культуры свидѣтельствуетъ объ ея органичности. Признаютъ же «евразійцы» органической характеръ за византійскимъ культурнымъ началомъ на Руси, не взирая на то, что вѣдь и оно было занесено со стороны. На какомъ же основаніи они отказываются признать то же самое за западнымъ? Неужели только потому, что первое было вѣдрано тысячу лѣтъ тому назадъ, а второе — только 200 лѣтъ? Это — чистый романтизмъ съ его наивнымъ отождествленіемъ «древняго» съ «національнымъ». За этимъ лежитъ можетъ быть плохо осознанное убѣжденіе, что народность, однажды, въ стародавнія времена, сформировавшись, затѣмъ въ своихъ основныхъ чертахъ остается неизмѣнной, такъ что всякая перемѣна можетъ быть уже только «порчей»; отпаденіемъ отъ «основныхъ началъ». Это — этнографическій фетишизмъ, — и ничего болѣе.

Горячая, убѣжденная и стра-

стная проповѣдь евразійцевъ, когда они призываютъ къ религіозно-нравственному возрожденію, когда они напоминаютъ намъ о нашихъ духовныхъ сокровищахъ, такъ долго бывшихъ въ пренебреженіи, когда они раскрываютъ перспективы будущаго культурнаго творчества, возбуждаетъ величайшія симпатіи и дѣйствуетъ заразительно бодряще. Но имъ этого мало; они составляютъ планъ и смѣту этому творчеству, они заранѣе опредѣляютъ его границы, они требуютъ сообразованія съ установленными ими правилами безысходнаго распознаванія того, что русскому народу, въ силу его «евразійства», свойственно и что нѣтъ. Можно ли говорить о культурномъ «творествѣ», если «творцамъ» вмѣняется въ обязанность постоянно озираться на списокъ «національныхъ чертъ», которые они должны «выявлять»? «Евразійство» можно принять, взглянуть на него, какъ на своего рода сочувственное угадываніе того процесса, который *уже совершается* въ Россіи (насколько онъ угаданъ ими правильно — это вопросъ особый), — и это уже значить многое; но *стимуломъ* къ культурному творчеству «евразійство» служить не можетъ. «Культура» не планъ, которое шьютъ по мѣрѣ. Культура есть самораскрытіе индивидуальной духовной потенціи, дѣло отдѣльныхъ творческихъ единицъ, которая никогда не совпадаютъ по духу съ народомъ, — развѣ только въ Китаѣ, гдѣ каждый китаецъ можетъ быть замѣненъ любымъ

другимъ; но въ Китаѣ, строго говоря, нѣтъ никакой «культуры», а есть только «быть» и «цивилизация», — и никакого движенія, никакой исторіи. Поэтому «культура» вѣчно мѣняется, а вмѣстѣ съ нею мѣняется и національный «духъ», или «геній», оставаясь, однако, въ извѣстныхъ предѣлахъ, вѣрнымъ самому себѣ. Поэтому нечего бояться измѣнить «своему» и нечего заботиться объ его сохраненіи и поддержаніи: «свое будетъ по неволѣ», повторю я слова благороднѣйшаго и умнѣйшаго русскаго идеалиста. «На всякомъ искреннемъ и произвольномъ актѣ духа, продолжаетъ Станевичъ, невольно отпечатывается свое, и чѣмъ ближе это свое къ общему, тѣмъ лучше. Гемлингъ вѣрно не хотѣлъ написать Нѣмку (онъ говоритъ о картинѣ, видѣнной имъ въ Прагѣ), но его лицо по неволѣ вышло такъ, хотя на немъ святое выраженіе: а эта индивидуальность (т. е. сочетаніе національнаго съ общечеловѣческимъ П. Б.) и составляетъ красоту... Кто имѣетъ свой характеръ, тотъ отпечатываетъ его на всѣхъ своихъ дѣйствіяхъ; создать характеръ, воспитать себя — можно только человѣческими началами. Выдумывать или сочинять характеръ народа изъ его старыхъ обычаевъ, старыхъ дѣйствій значитъ хотѣть продлить для него время дѣтства...» (Цит. у Анненкова, Соч. 1881, III, 350). Было бы несправедливо утверждать, что «евразійцы» именно этого хотятъ. Однако, ихъ настойчивое выдвиганіе «туранизма» и «византизма» педа-

леко отстоитъ отъ требованія Леонтьева «подморозить Россію». Евразійство представляеть собою ту же смѣсь разнородныхъ — учено-антикварскихъ, археологическихъ и религіозныхъ, пророческихъ, историко-философскихъ тенденцій, которая характерна для славянофильства и романтизма вообще. Одно мѣшаетъ другому. Евразійцы зовутъ къ возрожденію, но ихъ возрожденіе сбивается на реставрацію — я не вкладываю въ это слово никакого одіознаго «публицистическаго» смысла. Евразійцы, — надо отдать имъ справедливость, — и здѣсь — прямые потомки *раннихъ*, а не позднихъ славянофиловъ: какъ и первые славянофилы, они желаютъ реставраціи не какого-либо историческаго «зданія», но отвлеченныхъ ими же самими отъ исторіи «основъ» или «началъ» (тѣхъ именно «началъ», которыми они предварительно *уже признали* подлинными началами, въ отличіе отъ другихъ, «ложныхъ» или «привитыхъ», что въ концѣ концовъ равносильно *примышленію* этихъ «подлинныхъ началъ» къ исторіи, — результатъ смѣшенія философско-оцѣнчивающаго и объективно-ислѣдовательскаго подходовъ къ исторической эмпири), причемъ, — это тоже характерно для романтизма — сооставивъ и т. сказ. перенеся на общую проекцію начала столь разнородныя, какъ съ одной стороны религіозное, съ другой — географическое и этнографическое, — они приписываютъ этимъ послѣднимъ такую же значимость, какъ и первому;

отчего и получается то, что преданность православію у нихъ мало того, что сочетается съ культомъ Чингисъ-Хана (это бы еще ничего, и изъ историческихъ соображеній реабилитация Чингисъ-Хана и татарщины вполне оправдывается), но какъ бы требуетъ этого культа и приводитъ къ нему. Снова оговариваюсь, что я далеко отъ мысли приписывать евраіѣцамъ увлеченіе татарщиной, какъ образцоваго и для насъполитическаго уклада. У нихъ нѣтъ и тѣни этого. Я беру это только какъ примѣръ, освѣщающій психологію евраіѣства. Евраіѣство романтически «прекраснодушно». Евраіѣйцы не замѣчаютъ трагическаго, необходимаго и неустрашаемаго противоборства между «земнымъ» и «небеснымъ», между государственностью (все равно какой, — римской, византійской, татарской, петровской)

и христіанствомъ. Абсолютизируя относительное и «слишкомъ-человѣческое», они тѣмъ самымъ, не желая этого, умаляютъ религіозное, т. е. общечеловѣческое въ высшемъ значеніи этого слова. Религія обращается въ одну изъ «факторовъ культуры» — наряду съ прочими. Это невольный съ ихъ стороны и несомнѣнно не замѣчаемый ими результатъ переоцѣниванія «основъ культуры», которая сама по себѣ мало что значить: все дѣло въ самой культурѣ, т. е. индивидуальных творческихъ проявленіяхъ. Самое мудрое отношеніе къ «основамъ» то, которое было у С. Т. Аксакова: неразсуждающая любовь. Только такое безотчетное, «до-славянофильское», «до-критическое» обращеніе къ «материнскому лону» родной культуры животворить, и вдохновляеть.

Проф. П. Бицилли.

Евраіѣство

(Евраіѣйскій Временникъ. Не-периодическое изданіе подъ ред. Петра Савицкаго, П. П. Сувчинскаго и кн. Н. С. Трубецкаго. Книга Четвертая. Евраіѣ. книгоиздательство. Берлинъ, 1925, стр. 445).

Выходъ въ свѣтъ этого новаго толстаго тома Евраіѣскаго Временника свидѣтельствуетъ, что, несмотря на всѣ нападкн, а м. б. и благодаря имъ, евраіѣйцы продолжаютъ пользоваться успѣхомъ у чи-

татели-эмигранта. Каждая новая книжка Временника превосходитъ предыдущія не только своимъ объемомъ, но и числомъ печатныхъ откликовъ, а также и количествомъ сотрудниковъ. Такъ и въ этой четвертой книжкѣ Временника мы встрѣчамъ впервые имена Л. Карсавина, В. Свезмана и кн. Д. Святопольдъ-Мирскаго. Все это заслуженныя имена давно опредѣлившихъ себя писателей. Въ частности Л. Карсавинъ самъ еще не такъ давно